

Илья Эренбург
В ПРЕДДВЕРИИ
«Красная звезда», 1 января 1944

Мы увидели всё – развалины Воронежа и шестимесячную Марусю Хроменкову, расстрелянную в селе Лесная. Слезы а том кубке, слезы и пепел. Мы увидели овраги, рвы, ямы, набитые телами растерзанных. Мы увидели детские игрушки не на елке, но в этих страшных могилах. По городам носились газовые автомобили. Факельщики пробегали по селам. Палачи, слюнявя карандаши, аккуратно подсчитывали число замученных. Кровь жертв проступала из-под земли, как проступает вода в болотистых местностях.

Мне пришлось недавно прожить несколько недель в Харькове. Я увидел, что такое затемнение века, опустошение сердца, покушение на человеческое достоинство. В сквере, напротив дома, где я жил, болтались обрывки веревки на деревьях: там немцы вешали. Чем был Харьков под пятой захватчиков? Джунглями, застенком, кафешантаном. Четыреста тысяч людей, обреченных на голодную смерть. Ни одного книжного магазина, ни одной библиотеки. Забитые наглухо школы, и дети на базарах, дети под виселицами, дети на помойке. Немцы увозили в Германию хлеб и дверные ручки, картины и сало, девушек и железо. В магазинах покупали и продавали одни и те же вещи – залатанные штаны, склеенные миски. На станках, когда-то производивших сложные приборы, кустари делали зажигалки. Профессора университета изготавливали спички: огонь Прометея, светоч знания... Выползли жуки-могильщики. Кудрявая девчонка из тех, что народ прозвал «немецкими овчарками» – щеголяла в платье, снятом с расстрелянной женщины. Дворник, выдавший жильцов дома гестаповцам, пил французское шампанское. Пожилой человек мне рассказывал: «Запершись у себя, – было темно, голодно, холодно, – я повторял забытые слова. Я говорил: добро, правда, честь, верность, родина, любовь, счастье – я боялся, что забуду человеческий язык...»

Часто в Харькове я думал о другом городе: о Париже. Я думал о Праге, о Брюсселе, об Осло. Я хорошо знаю эти города. Я помню их веселыми или взволнованными, шумными, светлыми, теплыми. Я хотел представить себе их теперь — после долгих лет немецкого ига. Я видел ночь, плотную, густую, вязкую.

О чем сказать? О простейшем — о куске хлеба? Или о том, что Европа, некогда похищенная богом, который прикинулся быком, теперь похищена скотом, возомнившим себя полубогом?

Профессор Шарль Рише заявил, что свыше десяти миллионов французов больны отечностью на почве недоедания. В октябре на улицах Афин подобрали тысячу восьмьсот человек, умерших от голода. В Дании, где сливками споласкивали чашки, где снятое молоко пили только свиньи, люди валяются от истощения. Прекрасный материк порос бурьяном, чертополохом; крапивой. В краю белого угля, в Дофинэ люди зажгли лучины. Небоскребы гниют, пожираемые сыростью. Астрономы торгуют на базарах сахарином, и модницы ходят в лаптях.

В одной древней мистерии бесы перед рассветом душат петухов: бесы надеются, что солнце проспит, не разбуженное петушиными возгласами. В суеверном страхе немцы разыскивают последних носителей света. Гиммлер может выпускать оперативные сводки: «Произведен десант в университете Осло. Захвачены чешские студенты. Ликвидированы школы Гренобля». Недавно мир присутствовал при страшной охоте: немцы, вооруженные автоматами, гонялись за норвежскими студентами. Газета «Ди цейт» пишет: «Голландские студенты это мальчишки, которые согласны отморозить себе руки лишь бы насолить отцу». Вы вряд ли догадываетесь, кто «отец». Это — всё тот же скот с ярлычком полубога, кровожадный пигмей с усиками приказчика. Чтобы «спасти мальчишек», немцы закрыли все университеты Голландии, и та же «Ди цейт» восторженно описывает уничтожение старейшего лейденского университета: «Он умер и

похоронен». В мутный ноябрьский день немцы оцепили страсбургский университет. Ворвавшись в аудитории, они начали истязать профессоров и студентов. Умирая, Гете воскликнул: «Света!» Теперь миллионы его соплеменников, доктора права и мастера душегубок, эзэсовцы и метафизики, колбасники и знатоки генеалогии, сверх-арийцы и сверх-скоты вопят: «Тьмы! Тьмы!».

Зачем им университеты? У них есть свои алтари: застенки. Я приведу рассказ француза. Он был арестован гестаповцами в Виши: «Меня били плеткой. Текла кровь. В глазах все двоилось. Я молчал. Потом меня отвезли в военную тюрьму. В пять часов утра за мной пришли, вывели на тюремный двор. Палачи меня раздели и подвесили к стене. Командовал офицер. «Ты будешь говорить?» Я молчал. Меня били по пальцам ног. Потом на меня спустили огромную овчарку по кличке «Вольф». Она вырывала у меня куски мяса. Я мечтал об одном: умереть. Меня понесли в ванную и опустили в ледяную воду. Немцы смеялись: «Теперь ты будешь говорить». Я молчал. Меня снова подвесили к стене. Потом они мне что-то впрыснули под лопаткой. Я покрылся потом, в голове всё путалось. А они прикладывали к пяткам раскаленные утюги...». Довольно! Я вижу этот застенок: в Париже, в Праге, в Варшаве, в Минске, в Пскове. Неужели для этого греки вылепили бессмертную Афродиту, неужели для этого жили Данте и Шекспир, Расин и Толстой, Ньютон и Галилей? Плеть, овчарка, шприц, утюг...

Что страшнее в этих бесах – жестокость или глупость? Они могут убить всех петухов, солнце от этого не задержится ни на минуту. Мы пережили 1943 год. Его пережила Европа. Час перед рассветом кажется особенно темным. Бесы взяли свое. А теперь?.. Теперь светает.

Есть мудрое изречение: «Отчаяние, доведенное до конца, становится животворной надеждой». Европа коснулась дна, и она выплыла. В болезни, которую многие считали смертельной, наступил кризис. Все живые силы организма борются против недуга. Теперь мы вправе сказать о переломе: в 1943 году Европа встала со смертного ложа. Она встала не на пир, не на работу – на борьбу.

В эпохи благоденствия народы часто бывают слепы, они принимают сон за мудрость и вежливость за любовь. В годы великих бедствий народы находят себя. Разве не поразительно моральное возрождение Франции? Еще недавно иные ее лицемерно оплакивали и бодро отпевали. По вот она, Франция фран-тиреров, Марианна в Фригийском колпачке с винтовкой или с толом, самоотверженная и неукротимая. Десятилетия она читала газеты, полные лжи и низости. Эти газеты продавались на каждом углу. Их можно было прочесть в кафе за чашкой душистого кофе. Теперь тираж газеты «Пари суар», некогда самой распространенной, пал до пятидесяти тысяч. Отважные люди издают подпольную газету «Комба». Она раздается бесплатно, но часто за этот листок приходится расплачиваться жизнью. И вот тираж «Комба» достиг трехсот тысяч экземпляров.

Французская поэзия последние годы перед войной умирала: раскормленные и пресыщенные музы лениво перебирали бисер. Теперь во Франции вышел подпольный сборник стихов «Честь поэта». Знатоки потрясены творчеством анонимных поэтов: вспомнив о чести, музы нашли новые ритмы и новые слова. Нет, не убить бесам глашатаю зари, друга солнца – он бьет крылами, возвещая рассвет.

Еще год тому назад Франция казалась многим затоном бесчестия, в котором одиноко прозвучали благородные, но беспомощные взрывы Тулона. Теперь Франция – солдат в строю. Теперь не спорят, кто представляет ее — Пюше или Дарлан, Фланден или Дорно, Лаваль или Деа. Теперь Францию представляет Франция, ее народ, ее армия, ее глубокое, органическое единство.

На другом конце Европы обрела свою душу мужественная Югославия. Напрасно явные или тайные предатели хотели ложью, как ржавчиной, разесть сердце Югославии. В подполье, в безлюдных горах, в пещерах создано то, чего не могли сделать бывлые политики в своих кабинетах: государство.

Можно было бы сказать о многом – о скромном героизме чехов, о подвигах норвежских партизан, о горе, которое возродило Грецию. Я не раз бывал в Дании. Казалось, эта страна спит, спит днем и ночью, спит, работая, и спит, развлекаясь. В ней были хлевы, просторные, как дворцы, и свинарни, чистые, как ясли. В ней было много довольства, но датские юноши задыхались среди этого благоденствия. Они уезжали на край света или, напиваясь, проклинали свиное сало — базу благосостояния. Той Дании больше нет. Немцам запрещено в датских городах ходить вечером по улицам. Почему? Потому что датчане взялись за револьверы, за ружья, за ножи, потому что поднялась душа оскорбленного и гордого народа.

Почему нашла себя Европа? Почему, среди самой толщи ночи блеснул еще незримый, но уже неизбежный рассвет? О чем кричат петухи? О чем твердят поэты? Кто вдохновляет партизан? Скажем без гордости и без лицемерия: Россия, ее жертвы, ее кровь, ее победы. 1943 год начался со Сталинграда, и он закончился наступлением на Витебск и на Бердичев. Пусть военные обозреватели измерят пройденный путь — от Владикавказа до Херсона и от Воронежа до Коростени. Я хочу сказать о другом. Есть сотни километров и есть один шаг, который отделяет славу от гибели и гибель от славы. В 1943 году Россия сделала этот шаг: она предрешила исход войны. Мы знаем, что впереди еще много жестоких битв, но самое трудное позади: тот один шаг. Сталинград. Прохоровка, Поньри, начало падения Германии.

В 1943 году мир увидел мощь Советской республики. Народы Европы поняли сердце родной сестры. Было много неправды, много слепоты. Слова можно опровергать. Но кто опровергнет кровь? Говоря торжественным древним языком, скажу: 1943 год был годом явления России. Вдохновленная высоким примером, Европа, восстала на смерть.

Немецкий офицер Брандес назвал 1943 год самым мрачным годом немецкой истории. Он прав: предчувствие гибели страшнее всего. Истекший год всё предрешил. От Кавказа до Днепра. От Египта до Италии. От костров, которые горели на горах Германии в честь одержанных побед, до пожарниц Берлина, Гамбурга, Бремена. Не выплывут с морского дна погружившиеся навеки подводные лодки Гитлера. Не встанут из могил мертвые дивизии, бранденбургские, померанские, голштинские и прочие. Напрасно Роммель мечется по побережью Дании и Голландии. Напрасно Рунштедт осматривает укрепления Франции. Теперь уж ничто не помешает союзникам нанести сокрушительный удар. Отсрочка казни — вот единственная мечта гитлеровской Германии. Преступники готовы пролить реки крови, лишь бы выиграть год, полгода, может быть месяц. Есть русская поговорка: не удержался за гриву, не удержишься за хвост. Ее можно вспомнить при зрелище отчаянных контратак германской армии. Они не удержались на Волге, не удержатся и на Двине.

1944 — эта цифра кажется непривычной. Но я ее вяжу начертанной на граните и мраморе: год победы. Это клятва наша и всего человечества: земля стосковалась по колосьям и сердце стосковалось по счастью.

В парижском Лувре была одна статуя, особенно прекрасная — Самофракийской победы. Ее голова была отбита. Но у победы были крылья: она летела, и в этом порыве было столько красоты, что посетитель, заходя в зал, где стояла статуя, не мог уйти, он часами любовался созданием человеческого духа. Мы не видим лица победы, но мы стоим в преддверии года, потрясенные ее величием. Ты слышишь плеск крыл? Теперь уж недолго...